## Песни Олгы

В промороженных ветвях слышалось пение –  тонкий протяжный звук,  похожий на вой ветра. Из прохудившегося кожаного мешка, привязанного к   лиственнице, торчали жёлто-коричневые костяшки и обындевелые пряди. Ветер наматывал волосы на чёрные загнувшиеся ногти.

Если бы кто-то рискнул подойти к могильному дереву, то сказал бы: шаманка Олгы косы заплетает, духов зовёт, жениха приваживает. А может, так и было на самом деле. Заскучала Олгы без мужчины, иссохло и потрескалась её лоно, стало ломким, как кора дерева. Но в мёртвой плоти таилось желание. Вот и голосила Олгы в надежде, что услышит её путник.

У обглоданного ветрами, чёрного ствола лиственницы — сугроб. Только по весне, к концу мая, он потёмнеет и просядет. Обнажится прах тех, кто утешал Олгы долгими зимами, отдавал ей тепло своих жизней, веселил гаснувшим стуком сердец, щекотал затухавшим дыханием. Сколько их, женихов, сюда приходило? Наверное, сама Олгы не знает. Нет толку считать кости. Живой, горячий нужен. Чтобы пылкое мужское естество напитало недвижную Олгы жизнью.

Хотите узнать правду про шаманку Олгы, которая всё никак не может истлеть, качается в мешке на могильном дереве?

Поднесите водки Николаю, который прибился к роду Чуевых молодым и с тех пор живёт в нём, не смея покинуть эти места.

Старик насыплет в кружку порошка из мухоморов, размешает и выпьет. Посидит, не поднимая отёчных век, ощущая, как растекается по жилам едкое тепло, как уходит вечная стылость из негнувшихся рук и ног, как оглохшие уши начинают слышать, а слепые глаза – видеть. Но не семейство Чуевых, которое устроилось под пологом на ночь и ждёт рассказа — так легче засыпается. Не младшую невестку Любку, охочую до мужних ласк, готовую к тому, чтобы под долгие речи Николая делать нового ребёнка. Не самих Чуевых, которые, чтобы ничто не помешало рассказу старика, жуют хлеб и суют в беззубые рты младшим детям. Они быстро заснут под звуки любви и монотонные слова.

Понесётся на чёрных оленях ночь, чтобы на краю мира встретить светлый день, своего суженого, пересесть в нарты со снежно-белой упряжкой.  Потечёт рассказ Николая, которому скоро будет внимать только звёздная вечность, чьё недремлющее око  наблюдает за спящими через  дымоходное отверстие  чума.

Глаза старика видят не дальше того времени, когда он с товарищами подрядился добывать пушнину и оказался в чёрном от времени зимовье у чёрта на кулижках. Словно его жизнь началась со снегопада, который в одну ночь превратил октябрьскую тайгу  в призрачный мир белых громадин и голубовато-синих теней.

А в ушах Николая по-прежнему, как много лет назад, стоит горестный вопль старшего артельного, эвена-полукровки Устына.

Три собаки, три мохнатых друга были у него. Три брата в обличье лаек. А утром Устын с трудом открыл заваленную  сугробом дверь, свистнул и не дождался псов, которые пыхтят от радости, поскуливают в ожидании кормёжки.

Может, погнались за зайцем или каким другим зверем, сдуру  выскочившем к зимовью? Или, упаси Бог, россомаха набрела на охотничье жильё.

Но ведь лая-то артельщики не слышали. Их только позавчера высадили из  вертолёта на вырубленный пятак посредь тайги. За день пришлось сделать трудный переход  до зимовья, где уже дожидались сброшенные с вертушки припасы. Вот и заснули как убитые.

Не слишком ли крепко развёл Устын спирт? А может, починать запас вообще не стоило — впереди долгие месяцы лесного отшельничества. Случись что — только многоградусная жидкость заменит и лекарства, и этих, как там прозываются врачи, — терапевтов.

А от избушки к сопке по ровному первозимнему покрову тянулись три борозды. Одна кончалась  алым пятном у  жиденьких молодых елей; другая взбиралась на склон и пересекалась с третьей на размётанном дракой снегу. И не брусничник на нём краснел.

Николай высунулся на крик из двери. Устын, наклонившись вперёд, как против  сильного встречного ветра, бежал к сопке. Николай зажмурился от резавшей глаза белизны, а когда разомкнул веки, старшего уже не было.

Что делать-то? Проявить рвение  и броситься за ним? Или последовать его наказу не высовываться — вчера, уже еле шевеля языком, Устын поведал о таёжном мороке и велел при странных  обстоятельствах держаться вместе, на зов и крик о помощи по темноте  не   отвечать, после захода солнца сидеть в зимовье.

Много чего наболтал выпивший Устын. Тогда Николай только переглянулся с тремя напарниками, такими же неопытными, как он сам, но зато смелыми. Удача, как известно, только таких и любит. Стоило ли заключать договор с Союзохотхозом и лететь в глухомань, если на коротком поводке у старшего ходить! Пусть они этот договор подписали по пьяни, спешно, из-за угрозы ответить за драку в кабаке перед законом, но всё равно чувствовали себя суровыми орлами, без которых планы Союзохотхоза рухнут.

- Ты чё истуканом встал? Отойди, а то обмочусь, - сказал над ухом напарник, самый младший по возрасту.

Память старика Николая постоянно давала сбой, и имена товарищей, кроме эвена Устына, он забыл напрочь.  Три ли года миновало с того утра, тридцать ли три — какая разница? Весь  его  век с каждым часом, каждой минутой прожитой жизни отняла Олгы, с которой в первый раз он встретился  именно в тот день.

Николай посторонился, пропустил напарника и услышал, как за углом зажурчало.

В воздухе закружилась радужная крупка, и каждая снежинка в рыхлых грудах сугробов откликнулась сиянием острых, бивших прямо в глаза лучей.

- Колька, дверь закрой, избу выстудишь, - крикнул из тёплой духоты третий товарищ.

А Николай даже шевельнуться не смог. Под пляску разноцветных бликов   снежное пространство выдохнуло ему в уши слова:

- Заждалась я... Иди ко мне...

Николай вышел из зимовья, повернулся кругом — никого. И тут же шустро заскочил обратно. Не было сил глядеть на сверкавший мир. И не в мочь слушать голос, истончившийся до невнятного шёпота.

Перед Николаем стоял вечно недовольный третий артельщик — мужик сет сорока. Он больно пихнул Николая в грудь костистым кулаком и прикрикнул:

- Уши заложило? Дверь закрывай!

Николай стал тихо оправдываться:

- Устын за собаками побежал. Только их, наверное, волки задрали. А сам он пропал. И этот... вышел до ветру, да, видно, заблудился.

Напарник оттолкнул Николая и вышел, не забыв плотно закрыть за собой дверь.

Через секунду вернулся и вызверился:

- В другой раз шутить во дворе будешь. Хоть всю ночь — в избу не пущу.

- Да чё такое-то, поспать не дают, – донеслось с нар.

Это четвёртый член их наспех собранной артели, не считая Устына, высокий, красивый и хамоватый парень, подал голос. Вчера он выпил чуть ли не больше всех, полистал журнал при свете керосинки и заснул, не дожидаясь наказов старшего.

- Да тут Колька байки вздумал травить, - с недобрым прищуром ответил товарищ. - Устын-де собак потерял. Волки постарались. Малой по нужде вышел и пропал. Вот Колька их и выглядывал. И нас морозил, чтобы не залёживались.

- Так ведь... - начал растерянно Николай.

Но напарник резко распахнул дверь.

Устын и малой маячили перед крыльцом. Выглядели больными, но не с похмелья, а точно на самом деле доживали последние минуты. Руки безвольно вытянуты вдоль туловищ, головы, точно запорошённые печным пеплом, скорбно склонены на грудь.

- Да заходите уж! - рявкнул сердитый.

Николаю почудилось, что ноги малого и Устына чуть шевельнулись над снегом.

Устын приподнял подбородок, глянул исподлобья.

Николай не стал ждать и одним прыжком подскочил к злополучной двери, захлопнул её, задвинул засов.

- Охренел совсем?! - взревел напарник.

А Николай, еле шевеля языком, сказал:

- Так у старшего глаза белые...

Видно, вчерашние Устыновы рассказы впечатлили не только Николая, потому что напарник враз растерял свой гонор и неуверенно протянул:

- И что теперь? Вот так мы сразу попали, что ли?..

Четвёртый их товарищ бросился к сроду не мытому оконцу и стал оглядывать двор. Достал из кармана платок, попытался протереть стекло. Потом поскоблил его  ногтем. Обернулся и сказал:

- Разыгрываете, черти.

Сердитый крикун кивнул на дверь:

- Пойди да проверь.

Николай замотал головой:

- Нельзя. Это духи — забыли, что ли? Обряд бы нужен, так Устын рассказать не успел, заснул.

До сих пор старик помнит, как смельчак, презрительно поглядев на трусов, наслушавшихся сказок, надел охотничьи сапоги-торбаса на меху, накинул доху и толкнул дверь.

Она открылась со скрипом.

- Ну, кто со мной на поглядки? - спросил храбрец.

Не дождался ответа, вышел и растворился, исчез в сплошном сиявшем мареве.

Николай сразу понял, что напарник не вернётся. Почему не задержал, не нашёл нужных слов, чтобы остановить? Наверное, его воля уже тогда превратилась в хлопья снега, которые летят, куда дует ветер, или покорно валятся на землю.

За окном быстро стемнело. Николай  сунул в топку поленья, серые от времени, сложенные у каменного печного бока ещё теми, кто жил в зимовье до Устыновой группы. Спички ломались, щепа не хотела загораться. Он намаялся, пока из щелей перестал идти дым и за заслонкой загудело пламя. Дважды оно съедало дрова, дважды выстужалось зимовьё. Вот только утро никак не наступало.

Злой, горластый, но осторожный напарник сначала метался по зимовью, швырял по углам рюкзаки и мешки, ругал на чём свет стоит Союзохотхоз, который не снабдил мелкие группы рациями, потом тряс, потрошил и пытался вновь собрать радиоприёмник, корпел над наручными часами. Спрашивал что-то у Николая, орал, грозился.

Ответить было нельзя — Николаю словно перехватило глотку. А потом он и вовсе оглох, только видел, как шевелились губы напарника, как резко открывался его рот. После он стал наскакивать на Николая, точно драчливый пацан. От оплеухи, которую отвесил немтырю отчаявшийся разговорить его  товарищ, Николай упал головой к печке и обхватил голову руками.

Когда поднялся, всё вокруг стало другим. Печь покрывал иней, в углах зимовья блестела наледь. Даже новенький календарик на стене, который Николай купил в городе и повесил на гвоздь, затянула искристая плёнка. На нарах — сбитые   одеяла.

Николай сначала почему-то подошёл к календарику, протёр его. Картинка и дата поведали, что сегодня двадцать третье октября тысяча девятьсот восьмидесятого года. То есть позавчерашний день, когда они впятером добрались до зимовья.

А вот какое время суток, не понять. Совершенно нереальный, «потусторонний» сумрак перед глазами мог скрывать и дневной свет, и ночную мглу. Обындевелый кругляш часов не порадовал тиканьем, когда Николай поднёс его к уху.

Где же сердитый? Не ушёл ли вслед за товарищами? Николай потянул одеяло с нар просто так, ведь под ним не мог скрываться человек –  объём выдал бы лежавшее тело.

А вот почти распавшийся скелет с раздробленной лобной костью, в лохмотьях истлевшей одежды,  – мог.

Николай поглядел на свою правую руку с присохшим бурым пятном и не понял, как оказался у двери.

Череп с вмёрзшими в глазницы льдинками проводил его белоглазым взглядом.

Николай брёл по серому снегу, похожему на пепел, и не пытался оглянуться и посмотреть — а сколько же он сделал шагов? Может статься, ни одного — такая тягость одолела всё его тело.

Мысли спотыкались об Устыновы наказы — зимовьё не покидать, держаться всем вместе, глазам не верить.

Глазам не верить?! Так он только что сделал это — отдал себя во власть видению, сбежал, покинул спасительную избушку.

Николай остановился.

А если повернуть назад? Может, на своё счастье, он недалеко успел уйти в царство морока, таёжного наваждения, которое сгубило уже тьму-тьмущую охотников?

Как же трудно сделать хотя бы одно-два движения — всего-то переступить ногами да развернуться. Смотреть по сторонам необязательно, лишь бы видеть свои следы, которые ведут к зимовью.

Николай преодолел странную скованность, похожую на ту, что случается во сне: хочешь руку поднять и не можешь; нужно бежать со всех сил, а ноги не двигаются. Медленно, слишком медленно для того, чтобы всё это было в реальности, повернулся и...

Ночной мрак стал наконец днём. На Николая снизу вверх смотрела круглолицая темноглазая девчонка, улыбалась и яркими губами, и ямочками на румяных щеках, и белейшими мелкими зубами, каких у аборигенов этих мест не встречается, потому что крепкий чай, трубки да папиросы, которые не выпускаются из рук лет с пяти, усеивают дёсны тунгусов, или эвенков по-новому, зловонными бурыми пеньками.

Николаю бы обратить на это внимание, да где там! Как дурачок, разом позабыл, что случилось ранее. Обрадовался нежданной встрече, залюбовался дружелюбной смешливой мордашкой. Так захотелось ему смахнуть снежинки, застрявшие в прямых тёмных ресницах, тронуть щёки цвета зимней зари, прижаться ртом, иссохшим от волнения, к пухлым губам, даже на вид мягким и горячим.

В глубоких миндалевидных глазах незнакомки мелькнуло понимание. И радость. Но она отскочила на два шага и указала рукавом здоровенного, не по росту,  малахая (так в этих краях называли широкую запашную одежду без пояса) туда, где должно было находиться зимовьё.

Но его не было. Вместо избушки и стоявшей стеной тайги — чёрные лиственницы, какие растут на болотистой почве. Невысокие, с редкими ветвями и кривоватым стволом, согнутым ветрами.

- Не верь... -- прошелестело в Николаевой голове.

Но он не обратил внимания на столь слабый звук, который заглушался мощным биением сердца, толчками крови в жилах.

Пошёл вслед за девчонкой, которая точно летела над снегом.

А она уселась под лиственницей, обхватив руками ноги, уткнув острый подбородок в колени. Николай привалился к стволу рядом.

Вот же как забавно-то: холод не чувствуется, несмотря на то, что на нём только свитер с рубашкой. Батюшки, да он в одних носках! Видно, обрезанные катанки, по-сибирски — валенки, которые Николай нашёл в зимовье и надел вместо тапочек, свалились и потерялись. Из дырки на носке торчал большой палец — розовый, точно Николай в бане на полк**е** сидел, а не в сугробе.

Он скосил глаза, увидел, что незнакомка тоже уставилась на его палец, и расхохотался. Ему ответил звонкий смех, похожий на звук, с которым сосульки падают с крыш в оттепель.

Николай осмелел и обнял девчонку за плечи, она доверчиво прильнула к его груди. И таким тёплым было объятие, что он пожелал, чтобы эти минуты никогда не кончались.

Радужные круги расплывались перед глазами, с мелодичным звоном осыпалась с чёрных ветвей снежная крупка, солнце пробивало тучи розоватыми лучами, грудь распирала не испытанная ранее нежность, а голова кружилась от любви.

- Как тебя зовут? – шёпотом, боясь отпугнуть счастье, спросил Николай.

– Олгы, - ответила девчонка.

Он не понял тогда, было ли это имя или другое слово, но порадовался его звучанию.

Олгы вся сжалась, отпрянула от Николая, сунула руку за пазуху своего малахая. Раздались странные всхлипы, хныканье, и Николай похолодел: «Плачет? Я чем-то её обидел? Поди, не девка из кабака, чтобы её лапали». Однако тут же вспомнил о более чем свободных обычаях северных эвенков, которые в знак дружеского расположения могли подложить в постель к любому хоть жену, хоть сестру или дочь.

А плач, похожий на мявканье, слышался уже отчётливо. Николай обеспокоенно отодвинулся от Олгы. Она подняла на него грустные чёрные глаза. Но в них не было ни слезинки! Пока Николай любовался их сухим, жарким блеском и стрельчатой тенью ресниц на щеках, Олгы откинула косую полу своей одёжки, достала что-то. Николай перевёл взгляд. О боже!..

В руках Олгы ворочался маленький скелетик. Крохотные беззубые челюсти выпачканы красным, в мелких костяшках пальцев запуталась вырванная клоками собачья шерсть.

«Лайки Устына!» – мелькнула мысль.

Николай отшатнулся. Но Олгы так жалобно и проникновенно на него смотрела, протягивая шевелившуюся пропастину, что он замешкался и не убежал прочь. Да, конечно, эти останки — видимость, а вот Олгы живая, настоящая.

А в мозгу завёл-запел печальную и дивную историю голос, не слушать который было невозможно.

… Олгы должна была стать в своём роду тёлкой-матерью. Так называли очень молодых девушек, которые приносили дитя сразу после первых признаков женской зрелости. Только невежи считают, что кровь северных людей выстужена морозами, высушена ветрами и вяло течёт из-за постоянного голода. Любовь северян не боится ни чужого взгляда, ни стужи. Родился на свет — люби. Согревай своим телом другое тело, дай возможность умершим предкам вновь выйти на свет из утробы. Поэтому каждое дитя дорого. А если оно ещё от пришлого человека, то вовсе бесценно. Так не застоится кровь, будет здоров род.

Олгы взял одной ночью приезжий русский, который торговал с её родом. За мешки красивых шкур, оленину отдал ружьё и припас к нему. И ещё угостил всех спиртом.

Сначала хорошего человека согрела старшая жена, потом вторая... А третью он прогнал — надоели. Олгы, по их примеру, натёрлась жиром и лежала, едва дыша, чтобы не пропустить ни одного звука, с которыми творится русская любовь.

Но кому нужна худющая страшила? Вот вторая жена отца — красавица всем другим родам на зависть, жирная, как отожравшаяся по осени рыбина, неповоротливая от сала на боках и ногах.  Пусть во рту не хватает зубов, зато у неё лицо круглое, как луна, и три подбородка!

Тут прихватило живот от обильной пищи, случавшейся очень редко, и Олгы голяком вылезла из чума.

Потом задержалась, не чувствуя холода под бледным и тусклым взором луны.  Руки её в темноте белели, как крылья птицы, босые ступни так легко ступали, что снег не скрипел.

Русский тоже по нужде вышел, увидел танцевавшую Олгы и тут же навалился на неё.

Олгы громко смеялась, как другие женщины во время соития, несмотря на то, что ей было страшно и больно. Ничего не поделаешь, жизнь — это страх и боль. Не чувствуют только те, кто ушёл к предкам.

Потом любопытная луна из неяркого пятна стала разноцветной, обрушилась на Олгы и запылала сладким пламенем в животе. «Однако, ребёнок будет», - решила Олгы и, прежде чем забраться в чум под полог, снегом вытерла с себя жир.

Уезжая поутру, русский только Олгы оставил подарок — штуку красного полотна, настоящее богатство.

Но завистливые злые духи, которые давно затаили зло на род, не вынесли удачи, решили напакостить. Расцветили лица женщин багровыми пятнами, исторгли из их ртов кровавую пену. Такие же красные отметины Олгы видела и у русского гостя, и у его двух помощников. А когда пятна почернели, стали язвами, в роду начался мор...

Николаю бы задуматься: поветрие чёрной оспы случилось в прошлом веке, откуда же знать о нём этой пригожей тунгуске не старше восемнадцати? Значит, не человек она, а такая же, как скелет в её руках. Красота — всего лишь ловушка-обманка, за ней скрывается нечто ужасное. И нужно если не жизнь свою спасать, то хотя бы душу.

Но он заворожённо слушал беззвучный рассказ, слушал сердцем, которое не билось, мыслями, подчинившимися чужой воле, всем своим существованием, которое закончится здесь, у чёрной лиственницы.

А голос тянул рассказ, похожий на песню, дальше...

Призвали шамана, чтобы он прогнал злых духов, отбил у жителей Нижнего мира остаток рода — пять человек, и среди них Олгы. А потом осталась только Олгы и шаман. Но он не бил в бубен, а тихо хрипел рядом.

За поднятым пологом чума кишели твари, тянули когтистые лапы — порвать человеческую плоть, насладиться истекающим кровью мясом, выпить чужую жизнь, утолить вечную жажду. А ещё дальше земля рвалась и трескалась, и в сполохах синего пламени медленно поднимались те, кто, дай им волю, может уничтожить весь мир.

Один глаз шамана закатился под тёмное сморщенное веко, другой неотрывно  уставился на бубен. И Олгы поняла: чтобы им уцелеть, нужно бить в бубен.  Быстро, очень быстро, быстрее мысли. И сильнее, чем это смогли бы сделать волосатые великаны, которые когда-то могучими руками подняли землю, как  оленью шкуру, создали сопки и долины.

Но ровдужная рубаха, залубеневшая от рвоты, словно спеленала Олгы. Может, уйти вслед за родом? Ведь где-то далеко в Верхнем мире мужчины готовят оленье стадо к перегону, женщины разбирают чумы, скатывают шкуры. А горластые дети...

Дети! Будет ли ползать среди них ребёнок Олгы, мусолить в беззубых дёснах олений хрящик, поднимется ли на кривые ножонки, держась за шест чума? Вырастет ли он, вернёт ли в своих детях всех родичей, которые когда-то жили до него? Нет, однако. Ведь для того, чтобы после смерти жить, нужно сначала родиться.

Но ребёнку ещё семь лун сидеть в Олгыном чреве. И так и не ставшая тёлкой-матерью Олгы нашла силы коснуться бубна.

А где колотушка, которая может всё: и время вспять повернуть, и жизнь подарить уже мёртвому, и загнать обратно тех, кто из-под земли лезет? Беда — видно, поражённый болезнью шаман, падая рядом с очагом, уронил   её в пламя. Теперь вместо огня лишь чёрные угли.

Олгы слышала, что лучшая колотушка получается из берцовой кости умершего шамана. А этот ещё жив. Но медлить нельзя — твари Нижнего мира готовы вползти в чум, схватить всех, кто ещё может отдать им своё дыхание.

И Олгы вцепилась зубами в штанину шамана. Откуда нашлись у неё силы? Но старая, прожжённая у костров ровдуга затрещала. Подалась и жилистая плоть. Захрустели сухожилия. Рот Олгы оказался забит сгустками крови. А сплюнуть нельзя –  вон уже тянутся чьи-то жаждущие морды, подползают ближе тела с острыми от голода хребтами. И Олгы приняла шаманскую кровь.

Твари с воем отползли от неё.

Олгы почувствовала, что может двигаться, изловчилась и нащупала среди груды скарба отцовский нож.

В уши хлынули завывание, дикий хохот, пронзительный визг и чудовищное грохотание неба, которое откликнулось на эту передачу шаманской власти, каких ещё не было с момента рождения самой земли.

И всё же Олгы сделала первый удар по туго натянутой оленьей коже. Пусть он был слаб и напомнил звук, с которым парное мясо падает на промёрзшую землю, пусть ещё жил розоватый мозг в короткой кости с обгрызенными сухожилиями,  пусть новая шаманка, омытая кровью, сама была похожа на жительницу Нижнего мира, но твари отпрянули, попрятав головы. И было в этом движении что-то напомнившее поклон.

Окрепшая Олгы положила в мешок своё сокровище — отрез красной материи, отделила голову шамана ножом, сунула её туда  же — ведь нужно с кем-то советоваться в долгом пути, который она задумала? -- и отправилась искать себе другой род, другой чум и стойбище, где можно родить ребёнка, дать ему свет дня и темень ночи, заботливую родню и покровительство духов. Нельзя без них, безродный всё равно что животное: кто имя даст, предкам укажет на младенца -- вот новый человек, защищайте и берегите?

Но болезнь выкосила весь край. Бродили беспризорные олени, над остовами стойбищ днём и ночью завывали волки.

Тогда Олгы решила идти к маячившим вдалеке горам, поросшим лесом. Прежний шаман, видно, сильно на неё рассердился, потому что молчал в ответ на все расспросы. И Олгы решила оставить его в лиственничном редколесье на границе земель, откуда приходили русские.

Она отхватила ножом нижнюю челюсть – пригодится при камлании изображать помощника, – подвесила останки за седые косы, обвязав их вокруг ветви крепко-крепко. Ударила в бубен изо всей силы, выпустила в безбрежное небо свою душу и затянула песню о том, каким сильным был прежний шаман, сколько он славных дел совершил и главное — отдал свою кость для того, чтобы родился  ребёнок Олгы.

Чьё бы сердце не растопила такая похвала? Наверное, каждый бы гордился собой. Но только не этот шаман. Сделал так, что колотушку спалили, а дитя не родилось. А может, сама Олгы лишила его силы, отняв кость.

Олгы не пришлось даже подойти к русскому селу. Не пустили. Но не собаки, которые убегали, только почуяв её в лесу. Не охотники, которые при встрече не могли отказать в кружке воды и куске хлеба чумазой, покрытой струпьями затянувшихся обморожений тунгуске.

Хорошо и тепло одетые люди наставили на неё остроги — не подходи! Двое ещё и с ружьями были. Олгы не понимала их речи, вернее, слов не понимала, но знала: они боятся летучей болезни, которая мало кого щадила. Первыми умерли те, кто ездил торговать в далёкие земли. Значит, всему виной грязные, вшивые и блохастые тунгусы. Гнать их нужно, а стойбища лучше сжечь. Толку-то в том, что кресты на немытые шеи нацепили? Как были полуживотными, так и остались.

Олгы захотела услужить людям русского стойбища, глупо и бестолково поставленного средь леса, — призвать силы, прогоняющие болезнь, похвастаться: она тварей Нижнего мира одолела, а уж те, которые здесь бродят, сразу разбегутся при звуках бубна. Открыла мешок, достала колотушку, положила возле ног челюсть шамана. Она никогда не забудет, как русские удивились и рассердились на что-то.

Из толпы раздались голоса. Олгы поняла только скрытую в них угрозу:

- Гляньте на её рыло — всё в болячках! Новую заразу притащила!

- Мужики, да она ворожить, видно, собралась! Кости-то человечьи...

- Сейчас напустит порчу шаманскую — до весны не доживём. Видали: псы разбежались, лошади хрипят и бьются! Защищаться нужно, братцы!

- Мало мы людей похоронили, так вот она — новая напасть. Или мы, или она...

Один человек прицелился и выстрелил в Олгы. Пока она падала на снег, который почему-то стал чёрным, пока глядела последним взором в красное, как дарёное полотно, небо, все разбежались. Побоялись, что налетят духи, мстить будут? Или — не умрёт Олгы, на них набросится? Но ведь сильные русские люди везде хозяева, чего им бояться Олгы, которая всего лишь новый род для своего ребёнка ищет?

Вернулись только наутро — жечь её. Набросали на тело соломы, хвороста, подожгли. А Олгы, придерживая рукой рану на животе, чтобы не вывалился ребёнок, обидно смеялась над ними: ну кто так костёр для покойника складывает?

Только двое мужиков стояли безучастно в стороне. Один, седой и кряжистый, со свежими отметинами болезни на лице, не мог отвести взгляда от куска ткани, которую несколько месяцев назад пожаловал малолетней тунгуске, отдавшей ему девственное тело. Он долго болел, но выжил  и теперь не знал, на самом ли деле это было или привиделось в горячечном бреду.

А другой, порченный головой, считавшийся дурачком сызмальства, видел голую молодку, которая то доставала из дыры от ружейного выстрела что-то шевелившееся и тетешкала его, как дитя, то заталкивала назад и заваливалась на снег, точно в приступе смеха.

Именно порченый побежал за малахаем для голой – хоть от ветра укрыть.  Побродил с ним в руках по лесу и бросил недалеко от чёрной лиственницы. Уселся в снег и заголосил протяжно, оплакивая то ли несчастную, то ли свою судьбу изгоя. Там и нашёл его седой.

В тайге или тундре не принято бросать мёртвых птицам или животным, как, сказывают, делают в других местах. Коли пропал человек, готовят ему пустую могилу в земле летом, на дереве зимой. Верят, что побродит дух и явится рано или поздно к последнему своему пристанищу.

Седой грешник и порченый дурачок завязали малахай верёвками, чтобы получился мешок, и подвесили его к лиственнице.

Уходили от могильного дерева в сумерках. Тут и раздалось пение, тонкое и протяжное, как завывание ветра.

Седой оглянулся и увидел в прореху, как маленькая рука чешет длинную косу. Схватился за сердце и упал недвижимым.

Нашли их на следующий день — затвердевшего, как железо, мертвеца и дурачка, окончательно потерявшего разум. Объявили это место проклятым, наказали всем обходить стороной. А дурачка, который, не стесняясь креста на шее, много наговорил неправды о шаманке, зазывающей женихов, первый раз внимательно выслушали и назвали – вот неожиданность-то! – ведуном...

Николай был уже не в силах слушать историю Олгы, барахтаться в зятягивавшей глубине её чёрных глаз. Он простил ей звериную жестокость, воспринятую от мира, в котором она когда-то жила, готов был отдать свою кровь для её нерождённого ребёнка. Склонил голову с жертвенной покорностью, с которой идёт к месту заклания олень, на которого руки хозяев накинут кожаные ремни, чтобы удушить. Без смерти нет жизни. Без жертвы нет порядка.

Может, сейчас это единственно правильный шаг — возместить Олгы когда-то отнятое людьми Николаева племени, восстановить равенство между двумя мирами — попранным достоинством хозяев земель и яростной силой русских покорителей Севера.

Николай был готов стать вечным спутником шаманки, пусть бы и пришлось для этого  навсегда покинуть привычный мир. Тянулись минуты, часы, а может, дни. Ничего не происходило. И вдруг он почувствовал дикий холод,  который словно отрезвил его, вернул сознание.

Рядом — никого, даже снег не примят. Ушла Олгы, покинула его. Отказалась от жертвы, не захотела простить.

Так что ж медлить, нужно догнать её!

И Николай побежал, заковылял, встал на четвереньки, потом пополз. Имя шаманки срывалось с его губ сначала негромким криком, потом только облачком пара. Настал момент, когда двигаться дальше было невозможно. Он точно вмёрз в белую вечность, как крохотная лягушка в лёд.

Очнулся от боли в душном, вонючем нутре рыбы-кита, о которой ему пришлось читать в каком-то другом мире в какие-то другие времена. Рядом — только протяни руку – что-то ходило ходуном, толкалось, шевелилось. Оказалось, это колыхался меховой полог. А ещё пищало радио, вопил маленький ребёнок, гортанно ругался взрослый. Ноздри выедал резкий запах подгорелой еды. Не его ли ногу кто-то жрёт живьём?

Боль стала нестерпимой, и Николай закричал.

Над ним склонилось широкое, как блюдо, лицо с раскосыми глазами.

- Во, молодец паря, глаза открыл. Значит, жить будешь. Ступню-то я тебе маленько резал. Ты её духу холода сам отдал. А он жадный, всю ногу хотел отобрать. Но ты не бойся — я три раза прижёг. Зараза не пристанет, дух    остатки не заберёт, - раздался уверенный  и бодрый, какой-то счастливый голос незнакомца.

Позже Николай узнал, что «прооперировавший» его человек, эвен Костя Чуев, предпочитал сохранять хорошее настроение в любой ситуации. Падёж оленей — жалко, конечно, но не беда –  дотацию-компенсацию получит, задарма полгода жить будет. Брат в соседнем улусе помер — сильно жалко, зато теперь ему хорошо: ездит на небесных упряжках, которые кормить не нужно. И жена, поди, новая, такая, какие только на небе и встречаются: пылкая, работящая и молчаливая. Старший сын из совхоза сбежал – большое горе, однако, отцу  в одиночку не справиться. Но раньше посылок никто не слал, а теперь глянь — ящики ставить некуда. Да и есть кому деньги за сданную пушнину отправить.  А прежде ведь пропивать приходилось!

Когда Николай спросил про Олгы, эвен побледнел, сделал вид, что не услышал. Но увидев, как увечный попытался встать со шкур, покрытых самым лучшим  одеялом,  произнёс невесело, растеряв весь бодрый дух:

- Нельзя про неё в жилище говорить. Придёт без спросу, уведёт самого сильного мужчину. И всё — даже тела не сыщешь. Или ребёнка похитит, оставит мать без глаз, отца без души\*

Николай помотал головой по плоской подушке:

- Нет. Олгы справедливости ищет.

- Ничего не знаешь! - сердито воскликнул Костя. - Молчи лучше. Вас, русских, Олгы особенно часто забирает. Любит баловаться с вами. В Хильтыкиме почти все дома опустели. А ты говоришь - «справедливости». Вот эта справедливость Олгы нужна.

И Костя похлопал себя по штанам внизу живота.

Николай оторвал затылок от подушки, чтобы сесть и возразить, но нога полыхнула такой свирепой болью, что он потерял сознание.

Боль долго грызла его. В бреду приходили Устын и напарники, стояли возле, пока не начинали таять от тепла очага сосульки, в которых превратились их волосы, а плоть не становилась мягкой и текучей. Видно, отпускала их Олгы, чтобы поддержать Николая. Ведь должен же кто-то из рода быть рядом, когда умирает человек?

Но Николай звал только Олгы. Костя в такие минуты пугался чего-то, заставлял Николая проглотить едкую жидкость – смесь спирта и какой-то сыпучей гадости. Потом, когда Николай к ней пристрастился, ему рассказали, что это был порошок из ядовитых грибов, которые свежими несут смерть. А сушёными – забвение и яркие сны. Молодёжь, чтобы впечатлиться неизведанным, даже пила мочу стариков, привыкших к мухоморам.

И порошок приносил облегчение: грызущая боль отползала за полог, голова становилась лёгкой и светлой. И-за снежной сверкавшей завесы улыбалась ему девчонка в малахае, танцевала, а потом исчезала в глубине невозможного сияния.

Николай не обрадовался, когда понял, что выздоравливает. Значит, Олгы почему-то навсегда отказалась от него.

Костя ругал мёртвую шаманку, обвинял её во всём: и в неудачном отёле, и в болезнях людей, и в пропаже собак. По его словам, даже мор зверьков, которых жрёт песец, случился из-за неё. Сколько обрядов совершено ещё Костиным отцом возле могильного дерева, сколько оленей задушено — всё ей мало!

А Николай отвечал ему рассказом, который услышал от самой Олгы.

Весь Чуевский род заезжал к Косте при первом удобном случае — навестить больного, найденного во время охоты в трёх днях ходьбы от стойбища и спасённого при помощи ножа. Не зря из-за этого ножа много лет тому назад все переругались, таких теперь не достанешь. А ещё любопытно было: как этот найда (найдёныш) смог выбраться живым из могильного леса. Неужто шаманка отпустила жениха? Или... вовсе найда не жив, а так, только притворяется.

Осматривали культю, которая затянулась, как на собаке; говорили с Николаем, пожимали ему руку — тёплая. Значит, жив. Предлагали вызвать санавиацию, отправиться в больницу — отказался. Прикидывается? А когда через полгода пожаловали власти да милиция, потому что выборы были на носу, найда увидеться с ними не захотел и попросился в род Чуевых. Стало быть, жив ничуть не меньше, чем все остальные, — ну какой дурак откажется от чести быть в родове орденоносца-оленевода, про которого несколько раз писали в газете «Правда»? Это мёртвому или духу всё равно, а живой к славе тянется.

И только Николай знал, что он давно мёртв, что оставил своё дыхание, сердце и мысли возле чёрной лиственницы с кожаным мешком.

Добраться бы да поклониться в землю по-русски, повиниться за то, что так несправедливо устроен мир. Но сам он, одноногий, не дошагает. А люди не повезут — прокляты навеки те места.

Только и остаётся, что рассказывать людям о том, что поёт шаманка Олгы долгими северными зимами.

«Ребёнок — глаза матери, душа отца» - эвенкийская поговорка.

Международный литературный конкурс «Пролёт Фантазии» - [http://fancon.ru](http://fancon.ru/)